

ОДИН ИЗ ТЕХ

Из новой книги
Александра Лейфера
«Друзья мои от Омска до Читы...
(штрихи к портрету
Вильяма Озолина)»



Вильяму Озолину
Друзья мои от Омска до Читы,
умеющие спичку резать волосом
на два, умеющие тихим голосом
рассеивать влияния темноты,
я помню вас, бродяги, мастера!..
(Роман Солнцев, «Похвала друзьям»)

Теперь я понял, в чем дело. Понял, почему до сих пор настоящему не написал о Вильяме Озолине. На дворе — холодная весна 2003 года, Вильям ушел из жизни в августе 97-го. Шестой год идет, как его нет, а я все перебираю и выстраиваю по годам его письма, все складываю в толстую папку то еще одну фотографию, то газетную вырезку с его стихами или со старой рецензией на какую-нибудь его книгу, то афишку или приглашение билет с его именем...

Я элементарно боюсь начинать. Вильям уехал из Омска в 72-м году, а писать о том же 72-м годе — это значит писать и о себе. Хватит ли у меня искренности, смелости и такта, чтобы написать о том, что произошло в 72-м году и в моей жизни, что до сих пор болит и ноет, до сих пор то и дело встает в памяти бессонными ночами, когда вновь и вновь судишь сам себя, вновь проигрываешь и переигрываешь то, что переиграть и изменить невозможно. «И с отвращением читая жизнь мою...» Живы-здоровы все главные действующие лица той давней, казалось бы, истории, и ворошить старое — дело непростое. Это во-первых.

А во-вторых, Вильям — друг, а не просто персонаж из литературной жизни. Писать о нем надо откровенно и смело, иначе не получится. Иначе получится неправда, а это будет только на руку тем, кто до сих пор относится к нему, еще при жизни ставшему личностью легендарной, с неприязнью, завистью и предубеждением.

Но я все-таки рискну, все-таки попробую. И начну так, как по старой студенческой привычке иногда начинаю читать новую книгу, — с конца, со списка литературы. В данном случае списка никакого, разумеется, не будет. Просто хочу процитировать или пересказать то, что мне и другим удалось опубликовать о Вильяме после его смерти.

...Летом 97-го мы в Омске знали, что он уходит, что близкий конец неизбежен. Омский журналист приятель Вильяма Леон Флаум вспоминал потом:

«В последние месяцы его болезни бессильно и больно сознавалось, как рак легких безжалостными, страшными клещами метастаз души атлетичного, скульптурно сложенного человека, бродягу, любимца женщин. Роковой недуг отобрал не только силы, отнял большую часть голоса. Если бы вы слышали, как заводно он говорил, как выразительно пел свои песни, как мог, когда плавал на рыбацких судах, перекричать даже море! Теперь от щедрого баритона оставались всего несколько слабых, как бы чужих, каких-то надтреснутых звуков. Все-таки сам поднимал ставшую такой тяжелой для него телефонную трубку:

— Слу...ша...ю... (произнес с трудом).

— Что? Это ты, Виля? Что с тобой?

— Меня облучали. Атомная бомба. Хирург, знаешь, как сказал? Трудно в леченье — легко в гробу.

Скончался дней через 10. В память запал ссадиной на душе последний разговор, та самая шутка сквозь смерть. Она не была нечаянной, тем более деланной бравадой. Такой человек.»*

Как всегда, известие из Барнаула все равно застало врасплох: скончался 16 августа — за сутки до своего 66-го дня рождения...

Судорожные попытки организовать публикацию некролога ни к чему не привели: деловые ребята, сидящие в новых омских редакциях, пожимали плечами. Одни просто и слухом не слышали, кто такой Озолин, другие сознательно избегали печатать некрологи в своих еженедельниках — отпугивают, мол, траурные рамки читателей, а главное — рекламодателей, оставляют у них негативное, так сказать, впечатление. Не ровен час — на тираже скажется, на поступлениях в бухгалтерию...

В одной из омских газет сообщение о смерти (сделанное помимо моих усилий) все же появилось:

«Тихого океана стало меньше
Из Барнаула дохнуло сибирским холодом: не стало Вильяма Озолина

Он писал настоящие стихи. Дар, отпущенный свыше, проникал в его сердце и водил его рукой. И о ком и о чем бы он ни писал, строки его всегда были искренними и свежими, как дыхание младенца. Он, в общем-то, и внешне смахивал на большого ребенка. Порой неловкого и неудобного. Особенно для партийного и писательского начальства. Что в конце концов и вынудило его бежать из родного Омска сначала в Читу, а затем надолго осесть в Барнауле. Но до последнего дня ему верилось, что он вернется назад. Думается, однако, что его духовная и душевная связь с Омском и омичами, близкими ему и совершенно незнакомыми, никогда и не прерывалась. Об этом можно судить по всем его книгам, начиная с самой первой «Окно на Север» («Зеркало», 3 сентября 1997 г.).

Рядом с этой заметкой по иронии судьбы стояла другая — саркастически повествовавшая о том, что ряды Союза писателей РФ не уменьшились, т. к. в него принят еще один наш земляк, называлась заметка «С. Бабурин — писатель».

Узнав, что есть идея отметить сорок дней Вильяма, я подготовил уже не некролог, а просто памятную публикацию и опять пошел с этим текстом по редакциям. И опять реакция была соответствующей: поэт? стихи?.. С немалым трудом удалось уговорить руководство «Вечернего Омска» — газеты, которая начала выходить через семь лет после отъезда Озолина из нашего города.

А сороковины мы отвели в музее народного художника Кондратия Белова (ему посвящено одно из стихотворений первой книжки поэта). Тогда была еще жива замечательная хозяйка этого музея — дочь художника Вера Кондратьевна, знавшая и любившая Вильяма. Именно она и дочь Озолина — Ирина и организовали этот вечер.

Мы установили на мольберте портрет Озолина работы его приятеля — известного омского фотографа Александра Чепурко, где поэт запечатлен в профиль и с гитарой. Пришли только близкие друзья поэта — человек двадцать. Ребята потихоньку выпивали под знаменитые пироги, которыми славятся все проводящиеся в этом музее посиделки. Вспоминали Вилю — его бесконечные хохмы, его песни, его стихи...

Кто-то принес пачку его писем, кто-то — конверт со старыми фотографиями, книжки с дарственными надписями. Давний друг Вильяма радиожурналистка Инна Антоновна Шпаковская разыскала в фондах Омского радио записи его стихов и песен в авторском исполнении. И неповторимый голос поэта звучал среди пейзажей Кондрата Петровича.

Вильям был бы доволен такими поминками: за нашим столом то и дело раздавался смех — говорили по кругу, и почти каждый вспоминал какую-нибудь смешную ситуацию, героем которой покойный был когда-то. Грусть и горечь вперемежку с грубоватым мужским озолинским юмором.

Забегая немного вперед, скажу, что в мае следующего года старый друг Вильяма — поэт Роман Солнцев прислал мне свою новую стихотворную книгу «Наши грезы» (Красноярск, 1998). И я узнал, что в тот вечер он, как и мы, собиравшиеся в музее Кондрата Белова, тоже думал о покойном, — в сборнике было помещено стихотворение «Сороковины Вильяма Озолина»:

Лист огненный ветром по просеке гонит,
сбивает в дугу, где была колея.

Я лягу — лист желтый меня похоронит,
но встану, но встану, конечно же, я...

И только тебе никогда не подняться!

Лист красный заносит твой холм гробовой.

И то, что ты там, — мне никак не понятно!

Мы твердо мечтали жить долго с тобой.

Ты — молотобоец высокого класса.

Я — дятел, строчивший стволы налегке.

И как мне теперь за четыре-то глаза

смотреть, за два сердца стучаться в строке?

А ветер и листья, и сумерки гонит.

И музыка где-то играет не в лад.

И эта тоска тяжелее, чем голод,

чем год в одиночке, чем мертвенный холод, —

когда исчезает талант...

В этом же сборнике Р. Солнцева есть и другое связанное с Озолиным стихотворение, которое просто потрясло меня. Но об этом позже.

Публикацию мою «Вечерний Омск» дал позже — 11 октября:

«Лопнувшая струна
Улетел от нас в непонятную даль — умер в Барнауле — омский поэт Вильям Озолин

Я не ошибся, написав слово «омский», хотя хорошо помню, что уехал он из нашего города еще в самом начале 70-х. Озолин тогда не просто уехал — город выдал его, неудобного, неудобного своей естественностью, своей привычкой жить размахисто, без оглядки на кого бы то ни было.

Он уехал, но он остался здесь. Письмами и звонками многочисленным омским друзьям, радиопередачами и публикациями в периодике, а главное — самой душой, самими корнями своего творчества.

Да, была Чита, был Барнаул. Но было постоянное — вначале скрываемое, а потом уже и откровенное — стремление вернуться. Он и вернулся бы, говорил об этом в последнее время как о ближайшей реальности. Не успел. Не пустила болезнь.

В последний раз он приезжал к нам в 95-м — на III Мартыновские чтения. Леонид Мартынов — человек, тоже выдавленный неумной властью и ее прихлебателями из родного Омска, — был не просто его любимым поэтом, но и учителем, другом загубленного в конце 30-х отца.

В этот последний приезд Озолин, казалось, готов был разорваться на части: поэтический вечер, презентация книги, спектакль, чаепитие в музее К. Белова, запись на радио, встреча в Литмузее им. Ф. М. Достоевского... Он побывал всюду, участвовал во всем. И везде читал стихи — именно те, которые сейчас прочтете и вы. Прощаясь, я взял тогда эти несколько листочков на память. Кто ж знал, что пригодятся они вот для этого случая...

Собрал и разложил по хронологии его письма, полученные за долгие двадцать пять лет. Весело разрисованные цветными фломастерами, в последние годы они во многом стали тревожными и горькими: хаос в стране, хаос и предательство в писательских делах.

Он много работал в последнее время: рассказ в «Новом мире», сборник стихов, еженедельные эссе на свободную тему в местной газете, обязанности члена редколлегии журнала «День и Ночь»... Говорят, остается сделанное, остаются стихи... Все так. Но это слабое утешение для тех, кто знал и любил его живого — распахнутого, неповторимого, щедрого на дружбу.

Быстро идет время. Сердца наши по-прежнему полны слез...

Кто по издательским скитался коридорам,
Кто был знаком со славой и позором,
Тот должен знать особенность одну
Издательского дела: как бы смело
Ни вел ты свой корабль на волну,
Какие бы метафоры и рифмы
Твои б ни украшали паруса,
Ты все равно напорешься на рифы
Редакторского вкуса... Чудеса!..
Но я привык к ним. И когда однажды,
Горя от нетерпения и жажды
Увидеть напечатанный свой труд,
И прискакал в издательство... То тут
Возникли вдруг те самые препоны,
О коих я поведал вам:
Горгоны, поверьте мне, —
Как птички Петипа,
Нежнейшие, добрейшие натуры
В сравненье с отвратительной фигурой
Редактора, в чьи лапы я попал.
Нет — внешне он был малым современным...
И чисто выбрит, и одет отменно,
И вежлив был со мною. Лишь одно
Смущало обстоятельство:
Уж очень
Он к словарям был сильно скособочен!
Что было мне: хоть мудро, но чудно!
Не нравились ему слова простые,
Похожие на заросли густые,
Иную он лелеял красоту!

Вычеркивал он все слова и мысли,
Те, без которых мы себя не мыслим —
Увы! — ни на работе, ни в быту.
Вы б слышали, как он нудел безбожно!
С ним столкнуться было невозможно.
Мы были антиподы — он и я:
Он был с филфака. Я же был матросом.
И для меня язык мой был вопросом
Стилистики во славу бытия.
И я сказал ему: Я автор. Это значит —
Никто меня уж
Не переименит!
Мне совесть судия и чистый лист!
Но тут уж он не выдержал и взвился,
И волосат стал, будто и не брился:
— К чему ты призываешь, скандалист?
— Я призываю — лозунг мой аршинный, —
Чтоб, разумеется, без всякой матерщины,
Все, чем богат народный наш язык,
Без всяческой усушки и утруски
Вошел в литературу — коль он русский,
Могучий, вольный, добрый наш язык.

Ушедшему другу

Евг. Раппопорту

Инфаркт. Как лопнувшей струной
Мне обагрило слух. Проклятье!..
С тобою были мы как братья.
И жизнью маялись одной.
Друг добрый, не вини меня,
Что ты ушел, а я остался.
Ты не жалел себя, и я
В кустах от жизни не скрывался.
Но каждому из нас свой срок
Судьба отмерила. Кто знает:
Где и меня подстерегает
Последний затажной прыжок?
Но верю я: в глуби небес
Когда-нибудь в одно сомкнутся
Два облака. И содрогнутся
От грома — поле, реки, лес.

Запретные рифмы

Талдычат критики и разные пособия,
Что рифма «кровь — любовь» свое, мол, отжила,
Соорудив над ней печальное надгробье,
Похожее на два обломанных крыла.
«Морозы — розы» — тоже под запретом.
(Но как ты хороша, когда в морозный день
В серебряной пыли ты вся лучишься светом
И на щеках твоих — пунцовой розы тень!)
Спасибо, что поэт по имени Мартынов,
На критиков плюя, рифмует вновь и вновь
И Розы и Любовь — да так, что в жилах стынет
От благодарных слез вскипающая кровь».

Газета вышла, я купил с десятков экземпляров, сделал вырезки и разослал их нашим общим с Вильямом друзьям — Роману Солнцеву в Красноярск, Марку Сергееву и Анатолию Кобенкову в Иркутск, в Москву — Г. А. Суховой-Мартыновой, куда-то еще — сейчас-то уже не помню.

Разумеется, была послана вырезка и в Барнаул — вдове Вильяма Ирине. Но, как потом оказалось, письмо с вырезкой до Барнаула не дошло. Однако выяснилось это позднее, а пока мне позвонила незнакомая омичка — дальняя родственница Деборы Ароновны, матери Вильяма. Она просила у меня мой адрес — с тем, чтобы сообщить его в Барнаул. Я удивился, т.к. знал, что Ирина и Вильям жили с Д. А. в одном доме — том самом, куда я отправлял десятки своих писем.

Все стало ясно, когда в самом конце того же 97-го года я получил письмо от Деборы Ароновны:

«Здравствуй, Саша!

Вашу статью из «Вечернего Омска» мне прислали мои омские друзья. И я их попросила разыскать Вас и узнать Ваш адрес, чтоб поблагодарить Вас за эту статью-некролог. Они же, эти мои друзья, сообщили мне, что Вы, оказывается, послали Ирине письмо с этой Вашей статьей. Но, к сожалению, письма этого она не получила...

Мы еще не можем опомниться от этого горя! Звук этой лопнувшей струны поразил многих знавших и любящих Вилю людей. Горестные телеграммы шли из Читы, Красноярска, Омска, Москвы, с острова Сахалина, Петербурга, Риги и Крыма. 30 телеграмм.

В Барнауле существует общество инвалидов, которое издает литературно-художественный журнал «Свеча», который расходуется по всему Союзу. Виля очень помогал, консультировал их. Сейчас этот журнал готовит номер, посвященный Вильяму. Думаю, что он будет интересным. Они работают над его дневниками и письмами. В начале нового года он должен появиться...

А я, Саша, тоже занялась «писательством»... Дело в том, что я ведь теперь тоже инвалид — еще в прошлом году я упала, в результате — перелом бедра. А в моем возрасте (87 лет) перелом не оперируют и не лечат, т.к. кости уже не срастаются. И так вот я лежу уже полтора года. Хорошо, что я начала спускать ноги с кровати и садиться. Так вот, сидя целый день на кровати, я и письмо пишу и рукодельничаю. И много читаю. И вот пришла мне мысль писать «Воспоминания». Виля это одобрил и поощрял мое начинание. Жизнь-то у меня была очень интересной, и лица (встречались) интересные. Вспоминаю о Яне Озолине, о встречах и дружбе с П. Васильевым, Леонидом Мартыновым, а сейчас уже и о Вильяме Озолине.

Работу я закончила. Теперь мне нужно как-то отпечатать в нескольких экземплярах и послать в Омск моим друзьям и родственникам. Не знаю, как получится, если смогу отпечатать, и Вам пришлю. У нас дома есть машинка, но я не смогу этим заняться, сидя на кровати.



* Часть этих воспоминаний, касающихся жизни поэтов, у меня взяла в журнал «Барнаул», в первом номере нового года должны появиться.

Кстати, Саша, Ваша «Складчина» выходит или нет? Когда Вы ее посылали Виле, я всегда читала этот сборник с удовольствием. Ну вот заканчиваю. Пишите по указанному адресу. С наступающим Новым годом! Всего, всего Вам! 22-XII-97.»

Конечно же, мне захотелось прочитать воспоминания Д. А. Гонт. Я пообещал ей, что смогу организовать перепечатку текста в Омске (и обещание свое потом выполнил).

Но пока из Барнаула пришло еще одно письмо:

«Здравствуй, дорогой Саша!

Ваше письмо Ирина действительно не получила. Очень жаль! Она собиралась вам написать, но у нее сейчас такая работа, да и не только сейчас. Работает она во вспомогательном интернате для слаборазвитых детей. Но в большинстве это просто запущенные дети из семей алкоголиков. Ира преподает эстетику и ведет кружок ИЗО. Ира очень талантливый человек. Она ведет работу с детьми не по-чиновничьи, а вкладывая в каждого ребенка душу. Они под ее руководством делают удивительные вещи: рисуют, лепят, делают такие поделки, что люди не верят, что это работа этих детей. Часто устраиваются городские выставки, и даже часть работ увезли в Америку.

Сейчас у нее новая идея — хочет устроить в интернате театр марионеток. Руководить этим начинанием взялся опытный «марионеточник» (не знаю, как его назвать). А при организаторе — все остальное: куклы, костюмы, музыку будут делать в школе, и участвовать станут тоже дети. Так что занята она, как говорится, по горло. Да и нагрузка в школе большая. Уходит в 9 ч. утра, приходит в седьмом часу. Приходит домой ус-

таяла, а вечером еще внуку приносят 1 год 7 мес. Но все равно она собирается Вам написать.

Теперь о моих «Воспоминаниях». Дело в том, что писала я их не для печати, а просто написала о своей жизни, которая была, по-моему, очень интересной. Меня еще Виля «благословил» на эту работу... Писала от руки, печатать на машинке не умею. Так вот, сейчас сижу и переписываю, также от руки, размножаю, так сказать, хоть пару экземпляров. «Читатели» мои — друзья (одна из них звонила Вам) и сестры заинтересованы и просят прислать. Ну а для печати, я думаю, это будет едва ли интересно.

Но если Вам хочется их прочесть, как Вы пишете, то, как только моя «типография» справится, — я Вам постараюсь прислать. Дело в том, что вся моя «канцелярия» находится у меня на коленях, поэтому почерк, конечно, неважный, писать неудобно...

Ну вот, Саша, кажется, все.
28-II-98 г.

Саша, напишите Ирине, напишите...».

Примерно в это же время пришел из Красноярска последний (5—6) номер журнала «День и Ночь» за 97 год. Фамилия Вильяма в списке членов редколлегии была обведена черной линией. В номере была подборка «Памяти Вильяма Озолина», проиллюстрированная обложкой сборника «Песня для матросской гитары», на которой большой портрет автора работы того же Саши Чепурко — в свитере грубой вязки и с гитарой. Это сборник того 72 года, которым датирован отъезд поэта из родного города.

Врез к подборке хоть и подписан «Редакция «ДиН», писал его наверняка сам главный редактор — Роман Солнцев. Кто же еще?..

Продолжение следует.



Владимир Полторакин. Вильям Озолин. Дружеский шарж. Карандаш

Окончание, начало см. в № 18 от 21 мая 2003 г.

Ирина. В конце 60-х Вильям увел, украл эту редкую женщину у ее первого мужа — немало комсомольского начальника. Они с Вильямом ходили по Омску, взявшись за руки и глядя друг другу в глаза. Оба сыграли ва-банк, — бросив более или менее устоявшийся быт, оставив за спиной квартиры и семьи, поругавшись с родственниками. Это был вызов — дерзкий, открытый. Седой, голубоглазый, почти сорокалетний мальчик и юная женщина — рыжеволосая, стройная, вся устремленная к нему.

Вильяма, видимо, смущала значительная разница в их возрасте, но он скрывал это смущение, как всегда, за шуткой. Помню, как однажды мы гуляли по стрелке, шли мимо ТЭЦ-1 к устью Оми по правому ее берегу, поросшему у среза воды кустами тальника.

— Вот, Ира, — нарочито назидательным тоном произнес Вильям, показывая на эти кусты, — когда ты была маленькая, дядя Вилля любил здесь выпивать...

Ирина захохотала.

Рядом с абсолютно счастливыми людьми чувствуешь себя как-то неловко. Им же тогда вообще было на всех наплевать.

Несколько раз встречал их то у общих друзей*, то в Юнгорозке — в общаге Дома печати. Мне было неудобно расспрашивать Вильяма о бытовой стороне их с Ириной тогдашней жизни, в частности — о квартирном вопросе. Не думаю, что иногда они, засидевшись в гостях у тех или иных своих друзей, оставались до утра потому, что негде было ночевать. Другое дело, что, видимо, иной раз просто не очень-то хотелось возвращаться в квартиру матери, под ее укоризненные взгляды.

Вполне можно предположить, что та в принципе была не в восторге и от появления Ирины, и от предстоящего развода. Если это так (а скорее всего так), то Дебору Ароновну тут понять можно: откуда она могла тогда знать, что Ирина в бурной биографии сына — не эпизод, не очередное увлечение, а судьба на всю оставшуюся жизнь.

Однажды они пришли в гости ко мне, я жил тогда в своей первой, однокомнатной, квартире возле железнодорожного вокзала. Жена была в отъезде, и, наврава, что мне надо побывать у родителей, я вечером ушел на вокзал. Читал в зале ожидания газеты, пил в буфете каберне, под утро прошел в рабочую столовую, расположенную тут же на территории станции и обслуживающую ночные железнодорожные бригады, съел тарелку горячих щей. А потом спустился к Иртышу, где еще с вечера вдоль всего берега расположились воскресные рыболовы, и долго смотрел, как они вытягивают свои закидушки.

Когда пришел домой, Вильяма и Ирины уже не было. На прощание они перемыли посуду и подтерли пол. На столе лежала веселая записка, рядом стоял прикрытый блюдцем фужер с опохмелкой.

Тридцать с лишним лет прошло, я сам уже давно седой, а почему-то помню все эти пустяки — каберне, щи, чистый пол...

Познакомился я с Озолиным раньше — где-то, видимо, или в конце 67-го, или в начале 68-го, т.е. сразу же после моего возвращения в Омск после учебы в университете. Мы жили по соседству — возле вокзала, хотя в гости друг к другу тогда не ходили — отношения были еще не те. Однажды встретились на привокзальном или, как его еще называют, Ленинском базаре. Вильям нес в одной руке сумку с продуктами, а в другой — новенький, видимо, только что купленный венник-голик. Хозяйственные атрибуты шли ему, как корове седло, потому, наверное, мне и запомнилась эта встреча. Он смутился, чуть ли не застеснялся своего хозяйственного вида, пробормотал что-то шутовское и постарался побыстрее распрощаться.

...В 1970 году я участвовал в областном семинаре молодых авторов с рукописью документальных краеведческих

ОДИН ИЗ ТЕХ

Из новой книги

Александра Лейфера

«Друзья мои от Омска до Читы...

(штрихи к портрету

Вильяма Озолина)»

очерков. Рукопись похвалили, Озолин, думаю, это, что называется, усёк.

Вскоре я начал печатать в «Омской правде», где работал, серию очерков о пребывании в Сибири Ф. М. Достоевского. В ноябре 1971 исполнялось 150 лет со дня его рождения, впервые за всю советскую историю юбилей готовились отмечать широко: начали съемку нескольких художественных фильмов, готовились к выпуску первые тома Полного собрания сочинений в 30 томах. Как вскоре оказалось, Вильям мои очерки читал, и не просто читал, а вырезал и откладывал.

Затем в марте 1971-го в Омске проходил еще один литературный семинар — поэтический. Я, стихов не пишущий, участвовал в нем лишь как «больельщик», а также как сотрудник «Омской правды» — поручено было написать отчет. Одним из руководителей семинара был приехавший из Новосибирска критик Виталий Георгиевич Коржев — заведующий отделом критики и библиографии «Сибирских огней». Мне вдруг сказали, что он хочет меня видеть. Оказалось, что Озолин передал ему газетные вырезки с моими очерками о Достоевском. Так с легкой руки Вильяма я познакомился с Коржеввым (вскоре мы стали с ним на «ты») и начал печататься в «Сибирских огнях», журнал этот на долгие годы стал для меня своим.

Примерно в то же время Озолин познакомил меня со своим близким другом Марком Давидовичем Сергеевым — тогдашним руководителем Иркутской писательской организации, талантливым литератором и замечательным, редким человеком. Через Сергеева я изредка публиковал свои очерки и рецензии в иркутском альманахе «Сибирь». А в те годы каждая журнальная публикация была для меня событием, праздником. Много позже Марк Давидович взял мой очерк о старых книгах «Омские новеллы» в составленный им коллективный сборник «Библиофил Сибири» (Иркутск, 1988), а вскоре очерк этот перерос в целую книгу — «Удивительная библиотека» (Омск, 1989).

Тогда же, в начале 70-х (и тоже, разумеется, через Вильяма), состоялась знакомство с Романом Солнцевым, с ним я дружу и сотрудничаю по сей день. Примерно через полгода после смерти Вили Роман Харисович предложил мне войти в состав редколлегии журнала «День и Ночь».

То есть постепенно, как бы между делом, Озолин приобщал меня к кругу своих друзей, расширял мои литературные знакомства и в географическом (Новосибирск, Красноярск, Иркутск), и — что, разумеется, главное — в человеческом смысле.

В прощальном слове друг Вильяма Р. Добровенский писал о незримом, необъявленном содружестве литераторов-сибиряков, о том, что Озолин сделал из этого содружества культ, легенду.

Об этом же — старое стихотворение Р. Солнцева «Похвала друзьям», посвященное не кому-нибудь, а именно Озолину: Друзья мои от Омска до Читы, умеющие спичку резать волосом на две, умеющие тихим голосом рассеивать влиянье темноты,

я помню вас, бродяги, мастера!
Как пёс, что лезет на берег из озера,
я лапами сучу, ворча незлобливо,
за пишущей машинкою с утра.

Но если кто мне телеграмму даст —
куплю билет...

И на лесной полянке
Я плюну на бессмертье ради пьянки:
на что мне вечность, милые, без вас?

Или из вас любому — без меня?
(А все мы вместе — точно! — не бессмертны).
Налейте ж мне. А ты оставь советы,
печальный страж невечного огня!

С «подачи» Озолина несколько раз приезжал в Омск читинский поэт Ростислав Филиппов. Человек открытый, размашистый, душевно щедрый, он понравился у нас многим. С ним мы тоже сразу же стали на «ты».

Жизнь меняет и корезит людей, то и дело разводит их друг с другом. Слышал, что Вильям и Ростислав впоследствии

перестали быть друзьями, не берусь тут судить кого-либо. Но с моей стороны было бы несправедливым не сказать, что и Филиппов сыграл положительную роль в моей скромной литературной биографии. В 1977 году меня послали в Малеевку — на Всероссийский семинар молодых критиков. Поехал я туда с рукописью эссе о Достоевском «Всегда со мной», занимался в семинаре известного литературоведа Юрия Борисовича Борева, который отнесся к моему сочинению со всей серьезностью и сказал, что со временем из него может получиться книга.

В свободное от семинарских занятий время я читал и конспектировал специально заказанный для меня одной из организаторов нашего семинара — милойшей Марьяной Васильевной Зубавиной 1-й том писем Достоевского под редакцией Долинина (в Омске этой книги нет), и некая пока еще смутная идея зашевелилась тогда в моей голове — по-особому, необычно издать «Записки из Мертвого дома». Я тут же сел и написал письмо Филиппову — к тому времени он уже переехал из Читы в Иркутск и работал главным редактором Восточно-Сибирского книжного издательства. Через несколько лет такое издание знаменитой книги Достоевского было осуществлено, вышло оно немудрым по нынешним временам тиражом — 100 тысяч экземпляров...

О сибирском братстве литераторов одного поколения пишет и Илья Фоянков — в предисловии к изданию записных книжек Марка Сергеева: «Братство, о котором тоже еще предстоит рассказать. Вильям Озолин в Омске (а потом — в Чите и в Барнауле), Зорий Яхнин и Роман Солнцев в Красноярске, Ростислав Филиппов в Чите — называю не всех. Никаких лидеров не было, даже неформальных...»

Легенда легендой, культ культом, но вот совсем недавно, два с небольшим года назад, я на своем опыте почувствовал, что некое литературное братство существует до сих пор. Нужно было срочно помочь сыну, оказавшемуся в Чите. Позвонил Роману в Красноярск.

— Что за проблема? — сказал он. — Сегодня же пишу два письма в Читу — Гоше и Мише Вишнякову. Они все сделают.

И они все сделали — известный детский писатель Георгий Граубин, мельком видевший меня только на литпразднике «Забайкальская осень-72», и поэт Михаил Вишняков, который скорее всего и слыхом обо мне не слышал. Но за меня попросил Роман, за меня все еще «просит» Озолин, и это решило дело.

Я звонил потом и тому и другому, благодарил. Георгий Рудольфович отвечал сдержанно, а Михаил оказался человеком восторженным — вначале нахваливал моего сына, а потом заговорил... о писательском братстве — ни больше ни меньше! И это после раскола Союза писателей, после всех гадостей, которые сказаны друг другу «патриотами» и «демократами» за последние пятнадцать лет... Значит, не ушло бесследно, осталось то, что так культивировали, лелеяли и лелеют ушедшие и живущие — Вильям Озолин, Илья Фоянков, Николай Самохин, Марк Сергеев, Георгий Граубин, Роман Солнцев, Ростислав Филиппов, Евгений Раппопорт, Михаил Малиновский. И я счастлив, что с легкой руки Вильяма хоть немного, хоть краешком, мизинцем тоже прикосновены к этому.

Честно говоря, жил я в описываемые времена, как в тумане. Существенным для меня были только литературные дела. Служба в редакции «Омской правды» шла легко, семья подразумевалась как бы сама собой. Отец еще работая, мать была более или менее здорова. Еще в 1969 году я задумал свою документальную книжку о Петре Драверте — каждый свободный час сидел над его бумагами в краеведческом музее, в госархиве, работал в библиотеке, вел переписку, встречался с людьми... Был настолько увлечен всем этим, что мог,

* Много позже книга действительно вышла — «Вокруг Достоевского» и другие очерки» (Омск, 1996).

** Ф. М. Достоевский. «Записки из Мертвого дома. Письма из Сибири. Воспоминания современников. «Сибирская тетрадь». Документы. Составитель, автор послесловия и комментариев А. Лейфер. — Иркутск, 1981.

*** И. Фоянков. Прежде всего поэт. В кн.: Марк Сергеев.

«Над облаками — облака...». Из записных книжек. Иркутск, 1998, стр. 4.

* Например, на дачном участке М. Малиновского; там же встречал его и другой омский литератор — тогда совсем еще молодой Николай Березовский, не так давно он хорошо — тепло и тактично — описал эти встречи в своем очерке «И палуба точкой опоры...» (см. его сборник «Мои горы и люди». — Омск, 2002; до этого очерк печатался в «Литературной России» — 16 марта 2001 г.). Правда, не обошлось без некоторых фактических неточностей. В Омске В. Озолин жил совсем не там, где «поселил» его автор очерка; неточно указана и фамилия матери поэта.



Литературный праздник «Забайкальская осень-72». Александр Лейфер и Вильям Озолин (справа). Чита, 1972 год

например, среди ночи разбудить жену, чтобы рассказать ей: только что пришло в голову решение — композиция книги будет такой-то и такой-то.

Сейчас я думаю, а не бросил бы я все это к чертовой матери, если бы кто-нибудь мне шепнул тогда, что моя первая книга выйдет аж через десять лет — в 79-м, к 100-летию Драверта, что перед этим мне не раз и не два будут выкручивать руки в Западно-Сибирском книжном издательстве, тянуть и элементарно обманывать? Немного отвлекусь и расскажу только об одном, связанном с этим, эпизоде. Не помню уж в каком году (но точно — после отъезда Вильяма из Омска) тогдашний руководитель Омской писательской организации Л. И. Иванов дал мне командировку в Новосибирск — специально для того, чтобы я выяснил судьбу своей давно уже находившейся там «дравертовской» рукописи: что с ней — ни с помощью почты, ни по телефону узнать не удавалось.

Приехав в Новосибирск, я пошел прямо к главному редактору издательства Ф. (сотрудники за глаза звали его «главнюк»). Тот начал говорить о рукописи такими общими фразами, что я прямо спросил его — читал ли он мое сочинение? «Сам я не читал, — несколько не смутившись, ответил он, — я основываюсь на мнении...». И была названа фамилия сотрудницы издательства. Кабинет ее находился по соседству, но, увидев меня, хозяйка кабинета сообщила, что рукопись мою получила «только на прошлой неделе» и к знакомству с ней еще не приступала. Круг, таким образом, замкнулся, я утерся и пошел на вокзал, скрипя зубами от обиды и злости (помню, как, приехав домой, «спускал пар», — описывал свою поездку в столицу Сибири в письме Озолину).

Но это будет потом, а пока я был полон надежд и планов, весь кипел и фонтанировал различными идеями.

В тот год — год его отъезда из Омска — мы встречались особенно часто. Иной раз Вильям приезжал к нам в Дом печати. Там располагались редакции обеих омских газет, где работали его старые друзья Виталий Попов и Валерий Зиняков, заходил он и к Елене Златиной, к редактору «Молодого сибиряка» Михаилу Сильвановичу.

Однажды, найдя меня в кабинете Златиной, Вильям (чувствовалось, что он чуточку выпил) торжественно заявил нам обоим, что недавно понял, как он недооценивал «Омскую правду», какая полезная и нужная людям наша газета. Мы с Леной приготовились слушать (конечно, понимая, что дальше последует очередная озолинский «прикол»).

— Нет, я серьезно, — входил в раж наш гость, — вот иной раз утром просыпаешься и не можешь понять, — живой ты или уже мертвый. А тут — «Омскую правду» принесли. Скорей взглянешь на последнюю страницу: раз некролога нет, значит живой! Очень, очень полезная вещь ваша «Омская правда».

Но не одни только хохмы запомнились мне. Однажды, например, зашел разговор о творчестве. И Озолин высказал мысль, которая по-настоящему дошла до меня и с которой я согласился только спустя много лет — уже в перестроечное время, когда яснее ясного стало, кто есть ху. Тогда же мне не верилось в озолинское утверждение, что не важно, как ты пишешь, а важно, какой ты человек.

— Да, да, Саша дорогой, именно так, — разволновался, говорил тогда, расхаживая по моему кабинету, Вильям, — в конце концов неплохо писать можно и научиться — освоить технику, набить руку... А вот тому, что есть в Марке, в Романе, в Илюше Фоянжове или в нашем Мишке Малиновском, не научишься... Они — люди, настоящие люди, а не дерьмо. А дерьма у нас сейчас в литературе — каждый второй.

Тогда, тридцать лет назад, мне, дурачку, восторженно относившемуся ко всем пишущим, это, повторяю, казалось перхлестом, преувеличением.

Или из другой оперы.

Не любил и не любил выступать. Некоторым это занятие нравится, а я каждый раз волнуясь, цепенею, забываю, о чем хотел сказать. Хотя, говорят, со стороны это в последние годы и не видно.



Первая книга Вильяма Озолина. Художник Николай Третьяков. Новосибирск, 1966

Незадолго до отъезда Вильяма его и меня вдвоем послали выступить на Омскую суконную фабрику. Напрочь не помню самого выступления, но хорошо запомнил, как вышли после него за проходную, и Озолин, предложив сесть на первую же скамейку, около часа критиковал меня за косноязычие, за неумение организовать свою речь — буквально «на пальцах» учил самой технике выступления.

Однажды мы гуляли с моим трехлетним сыном Димкой и встретили Озолина на улице. Он присел перед мальчиком на корточки, начал с ним разговаривать, но тот почему-то на диалог настроен не был.

— Иди себе с богом, — сказал он вдруг Вильяму.

Озолин был в восторге и много раз вспоминал потом об этом случае...

...А летом он уехал.

В конце 1974 года вышла первая после отъезда из родного города книга В. Озолина — «Чайки над городом». Вскоре я получил ее от автора.

По сравнению с двумя первыми новый сборник внешне выглядел, мягко говоря, скромновато — газетная бумага, неброское оформление, наличие опечаток (в моем экземпляре все они исправлены авторской рукой)... Но зато редактором книги был близкий друг — Ростислав Филиппов, и это, конечно же, позволило Вильяму высказаться полнее и откровенней, чем это удавалось до сих пор. В коротком вступлении «От автора» он пишет:

«Предисловия только называются предисловиями, а на самом деле пишутся они в последнюю очередь, когда рукопись уже полностью готова. И это грустно. Грустно потому, что через несколько месяцев, как только я поставлю в конце этой страницы точку, уже ни одного слова, ни одной строчки нельзя будет исправить в этой книге, над которой трудился не один год.

Если уж что-то появилось на свет — ему дают имя. Свою первую сибирскую книгу стихов я назвал «Окно на Север», вторую, морскую — «Песня для матросской гитары», новую — «Чайки над городом». Это самая земная моя книжка, и может показаться, что ее название не совсем точно отражает содержание, потому что стихов о море в ней не так уж много. И все-таки — «Чайки над городом». Пусть несколько романтично, но зато в этом есть некий символ моей вечной привязанности к пароходам, к смолистым причалам, к морю. Мне всегда хотелось, чтобы и сухопутные люди жили по законам самой верной на свете морской дружбы и еще — чтобы над городами летали чайки. Хотя сами они, я знаю, этого не любят.

Не буду скрывать, что я волнуясь. Мне хочется, чтобы вы поняли, о чем говорят, шепчут или кричат черные столбики слов. И еще — я не буду делать вид, что мне безразлично — будет ли моя книга годами пылиться на прилавках или она быстро разбежится по городам и весям в портфелях, рюкзаках, в карманах пиджаков. Я для этого старался. И это самое главное».

А рядом — фотография невеселого, опустившего глаза вниз, уже немолодого, подуставшего человека. «Не знаешь, почему я такой грустный? А?» — спрашивает меня Вильям в подписи, сделанной на книжке под этой фотографией.

Причину грусти, то и дело пробивавшейся сквозь строки самых бодрых писем, приходивших мне из Читы, понять было нетрудно. Озолин элементарно скучал — по Омску, по привычной обстановке, по матери, с которой был всегда по-товарищески близок, по друзьям... Он и при редких наших встречах, весело рассказывая о том, как отлично у него идут дела в Чите (а потом и в Барнауле), нет-нет да и умолкал, внезапно отключался и как бы уходил куда-то внутрь самого себя. В та-

кие моменты в его огромных глазах стояла самая настоящая тоска. Через секунду он встряхивался, и веселый разговор катился дальше.

Сборник «Чайки над городом» тоже имел успех, получил неплохую прессу. О нем написали не только местные газеты, но и столичное «Литературное обозрение». Свообразное резюме подвели «Сибирские огни», поместив в конце 1975 года рецензию Э. Фоянжовой, где, в частности, говорилось:

«Чайки над городом» знаменуют собой пору зрелого становления поэта. Если первые два сборника отдают немалую дань безоглядному упоению стихией морской романтики, странствий по свету, то теперь на смену этому приходят более глубокие раздумья о жизни, о своем поколении, наступила пора разобраться и в тех нравственных ценностях, которые приобретены за прошедшие годы. Сохранившиеся и в новой книге эмоциональный накал, песенно распевный строй многих стихотворений придают этим раздумьям особый, чисто «озолинский» колорит». У поэта, безусловно, есть свой голос, который не спутаешь ни с чьим другим, хотя — и это вовсе не плохо! — ясно ощущается поэтическая школа, к которой он себя причисляет. Это Леонид Мартынов, Илья Сельвинский, Владимир Луговской.» («Сибирские огни», № 11, 1975, стр. 184).

Осенью 1976 года Озолин вместе с Филипповым на несколько дней приезжали в Омск, и в Доме актера был устроен их поэтический вечер. Я впервые в жизни слушал выступление земляка не сидя рядом, а из зала. Впечатление было сильное.

По поводу этого приезда в Омск Озолин писал мне потом: «Все сожалею, что не смогли мы с тобой в Омске тихо посидеть за бутылочкой и поговорить...»

...А потом мы прилетели в Читу и, отдышавшись кое-как, умотали в Иркутск. Я уже был болен, но как-то не придавал этому значения. А сразу же после Иркутска на неделю полетели на границу, и там я совсем расклеился, захаркал кровью. Так пролетел декабрь 76-го. Перед Новым годом меня загнали в тубдиспансер на обследование и отпустили 31 декабря. Диагноз: воспаление легких, хроническая пневмония и все это на ногах. Вот такие дела!

С 3-го января я в рот не беру и сейчас иду на «мировой рекорд».

Сел за книгу. Но пока все в корзину.

А издательство жмет на меня.

Так и живу я сейчас трезвый и глупый.

И еще меня гложет вина: там в Доме актера после выступления был какой-то Содом, и я толком ни с кем не мог пообщаться. И вообще в Омск мне нужно приезжать тайком».

Письмо это датировано 1977 годом. То есть за двадцать лет до рокового диагноза легкие уже были у Вильяма слабым местом. По поводу последней фразы — «приезжать тайком». Помню, каким образом мы с Вильямом несколько раз посещали ресторан «Маяк». Раздевшись внизу, мы шли наверх, проходили сквозь огромный, как самолетный ангар, ресторанный зал и мимо кухни выходили в гостиницу, а там на 4-м, кажется, этаже был обыкновенный гостиничный буфет. Вот там-то, среди приезжих незнакомых людей, мы и присаживались перекусить и поговорить. В самом ресторане к нашему столику обязательно то и дело подходили бы подвыпившие посетители — поздороваться с Вильямом, личностью он был в городе популярнейшей.

В более полном виде книга Александра Лейфера будет опубликована в журнале «Сибирские огни», в одном из номеров этого года.